

Н. Перлина

ДОСТОЕВСКИЙ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ: ИСТОРИКО–ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭССЕ В ДВУХ ЧАСТЯХ

Цель данной работы — обратить внимание на некоторые документы и материалы, которые не были до сих пор учтены при рассмотрении вопроса «Достоевский о смертной казни». Анализ этих материалов дополнит некоторые положения из статей Н. Ф. Будановой, в которых она рассматривает содержание брошюры «Обращение и смерть Л. Ф. Ришара, казненного в Женеве 11-го июня 1850 г.», — работ, фундаментально важных для построения всей концепции «бунта» в книге пятой «Братьев Карамазовых»¹, а также заполнит промежуток между историко–архивными исследованиями, которые И. Волгин сумел обобщить в книге «Последний год Достоевского», и такими блестящими трудами, как статьи В. Виноградова, А. Бема и книга R. L. Jackson «Dialogues with Dostoevsky». Работа Джексона в большей своей части посвящена одной теме: как в этике художественного видения Тургенева, Достоевского и Толстого преломлялся и представлялся вопрос о бессмертии души и о смертной казни, этом узаконенном, беспредельно жестоким и непоправимом нарушении заповеди «Не убий»².

Давая оценку государственно установленных карательных мер, знаменитые российские правоведы А. Кистяковский и Н. Таганцев указывали на различие между прикровенной смертной казнью (назначением телесного наказания, тяжесть которого должна с неизбежностью повлечь за собою смерть человека) и внесенной в Свод законов смертной казнью или «наказанием, прекращающим самое физическое бытие осужденного»³. По определе-

¹ Буданова Н. Ф. История «обращения и смерти» Ришара, рассказанная Иваном Карамазовым // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 13 СПб.: Наука, 1996. С. 106–119; «Не убий». Достоевский и проблема смертной казни // Записки русской академической группы в США. Нью–Йорк, 1999–2000. Т. XXX. С. 383–399.

² Волгин И. Последний год Достоевского. Исторические записки. М.: Сов. Писатель, 1986; Виноградов В. В. Из биографии одного «неистового» произведения (Последний день приговоренного к смерти) // Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 63–75; Бем А. Л. Гюго и Достоевский (Литературный обзор); Перед лицом смерти («Последний день приговоренного к смертной казни» В. Гюго и «Идиот» Достоевского) // О Dostoévskem: Sborník statí a materiálů. Praha, 1972. С. 131–149, 150–174; Robert Louis Jackson. The Ethics of Vision I: Turgenev's «Execution of Tropmann» and Dostoevsky's Vision of the Matter, The Ethics of Vision; II: The Tolstoyan Synthesis // Dialogues with Dostoevsky: The Overwhelming Questions. Standord: Stanford University Press, 1993. P. 20–54, 55–74.

³ Кистяковский А. Исследование о смертной казни. Киев, 1867. С. 270–75. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. М.: Наука, 1994. Т. 2. С. 176. Первое издание этого

нию А. Кистяковского, «смертная казнь есть насильственное отнятие жизни у субъекта, признанного по суду виновным в том или ином преступлении»⁴. В отличие от неизбежно ведущих к смерти особо тяжелых телесных наказаний (сечение кнутом и наказание плетью и шпицрутенами, отмененное в апреле 1863 г. только для лиц гражданских, но сохраненное для ссыльных, каторжных, солдат и матросов) вынесение по суду смертных приговоров в России было отменено при Елизавете Петровне в 1753–54 гг.⁵ При Екатерине II была восстановлена смертная казнь за государственные преступления (заговоры и подстрекательства к совершению переворотов), за участие в карантинных преступлениях, в военных мятежах, за измену отечеству и предательство в условиях войны⁶. Реформа 1863 г. не внесла изменений в раздел уголовного законодательства, касающийся смертной казни. Более того, в связи с начавшимся в январе 1863 г. Польским восстанием, на основании закона от 17 апреля того же года, преступления государственные, караемые смертной казнью, стали толковаться расширительно, вследствие чего, отмечает Кистяковский, и «были совершены по всей России многие смертные казни лиц гражданского ведомства» — не только в Польше, но и на Кавказе. Он называет 1866 год «эпохой возрождения смертной казни в России за политические преступления»⁷.

Как правовед, юрист и исследователь законодательства по вопросам уголовного права, Кистяковский писал о необратимом вреде смертной казни как наказания, поражающего «физическую сторону личности человека» и деморализующего все общество. Как христианин, он приравнивал смертную казнь к убийству и не переставал повторять, что это узаконенное лишение человека жизни является преступным нарушением библейских заповедей. Во всех своих работах начиная с основополагающего труда

труда Н. С. Таганцева вышло в 1887–1892 гг. в виде четырех томов, рассмотрение смертной казни находится во втором томе опубл. в 1888 г.

⁴ Кистяковский А. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением русского уголовного законодательства. Киев, 1882. С. 777.

⁵ В учебнике А. Кистяковского глава 14 «Наказания, поражающие физическую сторону личности человека» разделена на две части: «Смертная казнь» (С. 777–799) и «Телесные наказания» (С. 800–813). Кистяковский особо отмечает, что сечение кнутом сохранялось для ссыльных, каторжных, солдат и матросов еще и в 1880-х гг. Полная отмена этих чреватых смертным исходом телесных наказаний в России произошла лишь в 1913 г.

⁶ В «Элементарном учебнике» (С. 794–795) Кистяковский перечисляет всех казненных с 1762 по 1825 г. на основании принятого Екатериной II уложения: Мирович (1764), готовивший государственный переворот в пользу Иоанна VI; убийцы архиепископа московского Амвросия, совершившие преступление «во время бунта, учиненного по поводу моровой язвы» в 1771 г.; Пугачев и участники его восстания (1777) и декабристы (1826). Из изложения Кистяковского становится ясным, что для вынесения смертного приговора петрашевцам, лицам в большинстве своем гражданским, император Николай Павлович воспользовался действующим еще с 1753 г. законом о назначении специальных военно-судных комиссий. В 1848 г. Военно-судная комиссия была учреждена в связи с возникшей в Европе опасностью революции, и в ее обязанности входило представить на Высочайшее утверждение смертные приговоры, вынесенные петрашевцам на основании свода военных постановлений.

⁷ Кистяковский А. Элементарный учебник... С. 795–797.

1867 г. «Исследование о смертной казни» Кистяковский проводил детальный анализ постановлений русского уголовного законодательства в их связи с тем «Сводом Законов Российской Империи», который был составлен в 1826–33 гг. М. Сперанским⁸. Говоря об общем составе части 1, тома XV, содержащего основные положения уголовного права, Кистяковский повторял основную мысль Сперанского, что Российское уголовное право и постановления об уголовных наказаниях являют собою «окончательное выражение отношений целого гражданского общества к членам его»⁹.

Исследуя историю и юридическую сторону вопроса о применении смертной казни на материале европейского и русского законодательства, Кистяковский отмечал, что в то время как по законам Российской Империи смертные приговоры выносились только за государственные и политические преступления, во многих странах Западной Европы (в Англии, Франции, Германии и в некоторых кантонах Швейцарии) кражи, грабежи и другие уголовные преступления и во второй половине 19 в. по-прежнему карались повешением и гильотинированием¹⁰. А обсуждая с особой подробностью Российский свод законов именно с той стороны, которую подчеркивал Сперанский, — свод законов как выражение отношений целого гражданского общества к членам его, — он останавливался на том, с какой этической точки зрения уголовное право смотрело на самоубийство, покушение на самоубийство, содействие самоубийству (участие в дуэли) и на «подстрекательство на самоубийство, направленное со стороны совершеннолетнего на лицо, не обладающее вполне сложившеюся волей»¹¹. Согласно статье 348 т. XV., ч. 1. «Свода Законов» 1835 г., «покушение на умышленное самоубийство было обложено тем же самым наказанием, как и покушение на убийство, а по ст. 1477 родители и опекуны, побудившие своей жестокостью лицо, состоящее под их властью, к самоубийству, также считались виновными и подлежали наказанию»¹².

⁸ «Исследование о смертной казни» содержит религиозно-философское и культурно-историческое рассмотрение проблемы начиная с древних веков до середины 19 в. Кистяковский использует труды европейских правоведов, документальные материалы, сведения, почерпнутые из исторических хроник, а также ссылается на описание смертной казни в художественных произведениях (см.: С. 270–275) и отмечает работы европейских правоведов, излагающих основы уголовного права средневековой Италии по данным, содержащимся в «Божественной комедии» Данте (см.: С. 32–33). Для сравнительного сопоставления систем наказаний, действовавших в разные времена у разных народов разных стран (в том числе — в Киевской Руси, Московском государстве, Петровской и послепетровской России, от времен Елизаветы до реформ 1863 г.) см.: С. 156–158; 169–193. О несовместимости смертной казни с духом христианства и о социальных реформах уголовной юстиции, развитых в трактате Чезаре Беккариа «Преступления и наказания», а также о влиянии его концепции правосудия на законодательные постановления Екатерины II, см.: С. 186–275. В «Элементарном учебнике» в главах 13 и 14 основное внимание уделено собственно юридической стороне вопроса и приведена новейшая для того времени литература вплоть до 1881 г.

⁹ Кистяковский А. Элементарный учебник... С. 276.

¹⁰ Там же. С. 788–794.

¹¹ Там же. С. 319.

¹² Там же. С. 329, 319.

Вернувшись к литературной деятельности после тягчайших испытаний, Достоевский, которому по решению Военно-судной комиссии был вынесен смертный приговор расстрелянием, долгое время избегал каких бы то ни было упоминаний о катастрофе, разразившейся над ним и его друзьями-петрашевцами на Семеновском плаце. Табу, наложенное самим писателем на обсуждение темы об узаконенном и насильственном лишении человека жизни, диктовалось не столько прагматикой литературной деятельности (опасения цензурного вмешательства), сколько указывало на исключительную значимость и важность этой проблемы для его сознания¹³. Далее в этой работе будут высказаны предположения о том, почему Достоевский не посчитал возможным развернуть «Записки из Мертвого Дома» в свою версию «исследования о смертной казни» и ограничился в них лишь окольными указаниями на те воинские артикулы, которые допускали наказания, своей жестокостью подталкивающие преступника к умышленному самоубийству или имеющие последствием его неминуемую смерть. Впервые Достоевский заговорил о переживаниях приговоренного к смертной казни в романе «Идиот», от лица своего «положительно прекрасного человека», мудреца и юродивого князя Мышкина.

Роман «Идиот» был задуман и написан в годы пребывания Достоевского за границей, по большей части в Швейцарии и Италии. Первое упоминание идеи этого замысла находится в записи, сделанной в Женеве 2 / 14 сентября 1867; в августе 1868 г. сделаны записи к прощальным предсмертным объяснениям Ипполита и толкованию Апокалипсиса Лебедевым (главы IV–VIII третьей части), а дата окончания, 17 / 29 января 1869 г., проставлена на последней странице журнальной публикации в «Русском вестнике»¹⁴.

За границей Достоевский сетовал на недостаток новых русских книг и журналов и с особым интересом читал в европейских газетах и периодических изданиях сообщения об общественно-политической жизни в России и на Западе, уделяя особое внимание судебной хронике. Однако вышедшее в 1867 г. в Киеве «Исследование о смертной казни», как и все дальнейшие публикации Кистяковского на эту тему, ему не были известны. Кистяковский же, ученый широко начитанный в русской и европейской беллетристике, знал опубликованные произведения Достоевского, но, разумеется, не мог быть знаком с подготовительными материалами к его романам. Поэтому представляется важным то обстоятельство, что некоторые исторические данные и новейшие факты, касающиеся самоубийства и подстрекательства к самоубийству (процесс Умецких и дело Кронеберга), специально отмеченные Кистяковским в его трудах по юриспруденции и истории права, были самостоятельно «отслежены» Достоевским по газетам и периодическим изданиям и в той или иной художественно преломленной

¹³ Ольга Меерсон (Olga Meerson) рассматривает табу как критерий, определяющий систему религиозных, этических и экзистенциальных ценностей Достоевского, в книге *Meerson, Olga. Dostoevsky's Taboos*. Dresden University Press, 1988.

¹⁴ Достоевские выехали за границу 14 апреля 1867 г. Об их пребывании в Европе и европейских впечатлениях, отразившихся в романе «Идиот», см.: *Летопись жизни и творчества Достоевского*. СПб.: Академический проект, 1994. Т. 2. С. 130–201.

форме включены в его поздние произведения. Касаясь дела Ольги Умецкой в «Элементарном учебнике уголовного права», Кистяковский отмечал, что вопрос о виновности / невиновности родителей, спровоцировавших дочь своим жестоким обращением на поджог и попытки к самоубийству, был рассматриваем в новой судебной практике высшим законодательным учреждением — кассационным сенатом, признавшим жестокое злоупотребление родительской властью деянием, заслуживающим наказания. В таком же логическом и эмоциональном контексте имя Ольги Умецкой и ее родителей упоминается в ранних записях Достоевского к роману «Идиот»¹⁵. В окончательном тексте романа тема злоупотребления властью возникает в абсурдном рассказе генерала Иволгина о рядовом Колпакове, якобы умершем от наказания шпицрутенами и чудесно воскресшем в госпитале.

Во всех печатных высказываниях Достоевского по поводу смертной казни мы прежде всего видим резкое разделение: у них, или «там, в Европе», — и у нас, или, как выражает эту мысль князь Мышкин в разговоре с камердинером Епанчиных: «...у нас смертной казни нет <...>, а там казнят» (8; 19). Достоевский и речами своих героев, и всеми своими прямыми высказываниями утверждает, что общество и государство не имеют права отнимать у человека жизнь — высшее благо, дарованное ему Богом. Далее вопрос об убийстве–преступлении и узаконенном наказании убийцы смертной казнью смыкается у Достоевского с несколькими прилежащими, но самостоятельными проблемами: самоубийством, или убийством по согласию с собственной волей и совестью; убийством политическим, совершаемым по согласию с волей и совестью группы идеологов, сектантов или фанатиков, а также — с вопросом о праве государства защищать себя от политических посягательств и карать смертной казнью подстрекателей к мятежам и заговорщикам.

К известному корпусу документов и литературных текстов (источников и катализаторов этико–религиозных и поэтических идей Достоевского по поводу смертной казни) я хочу добавить некоторые новые материалы:

I

Как мне представляется, ведущий и доминантный в переживании всех этих проблем «Последний день приговоренного к смертной казни» В. Гюго (известный писателю и по оригиналу и по переводу, выполненному в 1860 г. М. М. Достоевским) соединялся в его эмоциональном восприятии с ныне забытым, но в свое время читаемым текстом «Записок палача», автором которых был Анри Сансон, внук знаменитого палача, казнившего Людовика XVI, прослуживший с 1820 по 1847 г. в должности «верховного исполнителя» и казнивший за долгий срок своей службы более 100 человек¹⁶.

¹⁵ Кистяковский А. Элементарный учебник... С. 331–332. В состав этого труда вошли основные положения из «Исследования о смертной казни», но основное внимание было уделено, как на это указывало заглавие книги, подробному изложению русского уголовного законодательства. Записи, касающиеся дела Умецких, сделаны Достоевским на основе газетных сообщений от 23, 24 и 26–28 сентября 1867 г.; 9; 142.

¹⁶ Sept générations d'exécuteurs 1688–1847. Mémoires des Sanson mis en ordre, rédigés et publiés par Henri Sanson. Paris: Dupray de la Mahérie, 1862–1863. В дальнейшем в сно-

Фамильное имя Сансонов (или Самсонов) было издавна известно¹⁷. Сансоны происходили из старинного итальянского рода, и, по фамильной легенде (достоверность которой подтверждалась материалами миланской амброзианской библиотеки), предок их был сенешалем герцога Норманского Роберта Прекрасного, известного по прозвищу Роберт–Дьявол. В XV в. Сансоны жили в городе Аббевиле, и их семейство гордилось славой Николая Сансона, основателя современной географии. «Родоначальником жалкого поколения» тех, кого отказывались считать «гражданами» и «называли палачами», был Шарль Сансон де Лонгеваль, родившийся в 1635 г. и получивший позорную должность исполнителя уголовных приговоров в качестве наследия, которое принес ему брак с единственной дочерью Пьера Жуанья (Jeanne), палача из Дьеппа. К 1688 г. овдовевший Шарль Сансон с малолетним сыном, родившимся от его горячо любимой жены, перебирается в Париж и там получает должность палача. Так он становится основателем династии Королевских палачей, а шесть поколений его потомков оказываются участниками и непосредственными исполнителями роковых ролей в истории Франции¹⁸. В конце XVIII — середине XIX в. имя Сансонов попадает в исторические труды роялистов (Де Местр), в хроники Французской революции, на страницы судебных уголовных хроник, публиковавшихся в газетах и журналах. Король Людовик XVI, Мария Антуанетта, Шарлотта Кордэ, мадам Дюбарри, Дантон, Камилл Демулен, Робеспьер, Пьер Лувель и другие участники республиканских заговоров, покушавшиеся в 1830-х гг. на Луи Филиппа (внука Людовика XVI), герои уголовных хроник Ласенер и Авриль, а также невиновный в возводимых на него преступлениях Лезюрк — все они окончили свою жизнь под ножом гильотины в руках трех поколений Сансонов—Шарля Анри (Charles Henri), его сына и внука — последнего в их роду палача и автора семейной хроники «Sept générations d'exécuteurs 1688–1847»¹⁹. По воле рока «верховный исполнитель решений Революционного трибунала» «гражданин» Сансон должен был предать смертной казни на гильотине обожаемого им монарха. Этот трагический эпизод в истории Франции сделал Шарля Анри Сансона героем нескольких апокрифов, появившихся в течение 1829–1831 гг.

сках для этого издания будут указаны имя автора, номер тома и страница. Все цитаты по переводным изданиям будут оговорены.

¹⁷ Поскольку во французском произношении носовые *an* и *an* совпадают, в русской и европейской традиции возникло двойное написание имени автора: Сансон и Самсон. Варьируется и написание имен: Генрих–Анри. Хотя написание Самсон следовало французской орфографии, в Германии и Англии за этим семейством укрепилось имя Сансонов. В России Пушкин в 1830 г. и авторы публикаций уголовных хроник в журналах середины XIX в. пользовались написанием Самсон.

¹⁸ В «Записках палача» Анри Сансона история жизни Шарля Сансона де Лонгевалья изложена по устным преданиям, которые передавались в их семействе от отца к сыну, и по рукописям и дневникам его предков.

¹⁹ Как специально подчеркивает Анри Сансон, дочерям он дал чужое имя, и они выросли и вышли замуж, не зная ничего о позорной профессии отца (Sanson, «Introduction», t. 1: 10); сына у него не было, и таким образом должность палача перестала быть наследственной профессией в их семье. Уже на следующий день после его отставки нашлось 18 человек, пожелавших занять открывшуюся вакансию (ibid., t. 1: 8).

Автором одной подделки был Lhéritier de l'Ain, а другой — A. Gregoire (псевд. Vincent Lombard de Langres)²⁰. В течение десяти лет после этих сенсационных публикаций французские книгоиздатели продолжали предлагать сыну Шарля Анри свои услуги и просили его поделиться материалами семейного архива Сансонов с рекомендуемыми ими авторами. Тот неизменно отвергал их предложения, но циркуляции апокрифических легенд пресечь не мог. Сообщения о публикации «сочинений» Сансонов стали известны и в России, и Пушкин, не будучи знакомым с текстом «Записок палача», с неодобрением писал о намерении выпустить такого рода сенсационное издание²¹. Начиная с 30-х гг. XIX в. апокрифами о Сансонах стали пользоваться журналисты русских периодических изданий для составления различного рода компиляций. Так, в серии очерков Р. Шtrandмана «Из уголовных дел Франции» в журнале Достоевских «Время» использованы материалы не только Армана Фукье, но и сведения о Сансонах — исполнителях судебных приговоров над Ласенером (казнен в начале 1836 г.) и Лезюрке (Joseph Lesurques, казнен 30 октября 1796 г.)²². Таким образом, Ф. М. Достоевский, дополнивший публикацию Шtrandмана «Процесс Ласенера» кратким примечанием от редактора (Время. 1862. № 1. Отд. 2. С. 1), не мог не знать имени Сансона; можно предположить, что путешествуя в 1862 и 1863 гг. по Европе, он обратил внимание не только на вышедшие четыре тома «Записок» Анри Сансона. Но прочитал это сочинение Достоевский, скорее всего, не тогда, а в годы своего второго и сильно затянувшегося пребывания за границей — когда был занят писанием романа «Идиот». В тексте романа следы чтения Достоевским «Записок Палача» прослеживаются во всех принципиально важных для концепции целого высказываниях князя Мышкина о смертной казни, а также в отдельных замечаниях Евгения Павловича Радомского.

На опубликование «Записок» Анри Сансон был подвигнут импульсами двоякого рода. Во-первых, этой публикацией он хотел опровергнуть одноименную фабрикацию де Лангрэ, появившуюся еще в 1830 г. и порочившую сословное и человеческое достоинство его предков; во-вторых — публикацией записок рода Сансонов, потомственных палачей, автор хотел показать, насколько профессия «верховного исполнителя» несовместима с природным назначением человека и с идеей человечности²³. «Записки»

²⁰ Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution française, par Sanson (2v., 1829. 1831) были составлены Lhéritier de l'Ain, а Vincent Lombard de Langres был составителем апокрифических бесед с Сансоном под заглавием: Mémoires de l'exécuteur des hautes-œuvres, pour servir à l'histoire de Paris. Paris: M. A. Grégoire, 1830.

²¹ Пушкин А. С. Собр. соч. М., 1976. С. 38–39. Опубликованная в «Литературной газете» 1830 г. без имени автора, заметка была включена П. В. Анненковым в 7-й том Собраний сочинений Пушкина.

²² О Фукье (Armand Fouquier) см.: Рак В. Д. Источник очерков о знаменитых уголовных процессах в журналах братьев Достоевских // Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1974. Т. 1. С. 239–241. И в апокрифических, и в подлинных записках Сансона описаны подробно процессы Лезюрка и Ласенера.

²³ За первым, 4-томным изданием в том же 1863 г. последовало расширенное издание в 6 тт., а затем еще одно 6-томное издание, несколько измененное по расположению глав и дополненное материалами, найденными автором в рукописном наследии отца,

1862–1863 гг., открывающиеся авторским «Вступлением» и кратким «Предисловием» к первому тому, представляют собой необычное сочетание трех родов документов: повествование начинается с «Исторического взгляда на разные роды казней» (Sanson, t. 1: I–IX, pp. 33–202; кн. 1. Т. 1, гл. I–IX русск. пер.); далее следует составленная на основе фамильных и архивных документов хроника рода Сансонов, которую перебивают инкорпорированные в текст большие фрагменты из воспоминаний и «журналов» двух палачей: деда и внука²⁴. Через «журнал» деда в «Записки» входит рассказ о жертвах Французской революции и якобинского террора. Список приговоров, им исполненных, Шарль Анри Сансон дополняет своими некрологами–воспоминаниями о нескольких десятках казненных (Sanson, t. 3: 411–481; t. 4). Эти фрагменты в последующих изданиях «Записок» дополнены рассказами о событиях 1794 г. (от процесса Дантона до ареста Робеспьера), сводной таблицей смертных казней, имевших место в Париже в период с 14 июля 1789 по октябрь 1796 г., и автобиографическими записками внука. Автобиографическую часть записок Анри Сансон строит по аналогии с «Журналом» деда: «Мое предназначение», «Мое воспитание», «Первый приговор, мною исполненный», «Лувель» и «Приговоры, приведенные мною в исполнение»²⁵. Его автобиографические записки открываются фразой: «Я родился в 1799 году. В намерения моего отца не входило сделать и меня палачом». «Служителем гильотины» Анри стал во исполнение предсмертной воли деда, и это роковое решение старика как стеной отделило его от мира свободных граждан.

Выпуская первое издание своих «Записок» в тот же год, когда В. Гюго опубликовал новое издание «Последнего дня приговоренного к смерти», Анри Сансон полагал, что ставит перед трибуналом человеческой совести и

и своими собственными воспоминаниями. По второму изданию (в котором повествование доведено до ареста Робеспьера) был выполнен русский перевод: Записки палача или политические и исторические тайны Франции, собранные бывшим исполнителем верховных приговоров Парижского уголовного суда Г. Сансоном. Т. I–VI. СПб.: Типография Эдуарда Веймара, 1863–1866, — перепечатанный в 1993 г. с указанием имени переводчика (П. А. Л. Берг) издательством «Лугань» в Луганске. Большинство цитат в данной работе будет приведено по этому изданию с указанием книги, тома и страницы. По третьему изданию «*Mémoires des Sansons*» был выполнен сокращенный перевод на английский язык: *Memoirs of the Sansons: From Private Notes and Documents (1688–1847)*. London: Chatto and Windus, 1876. Английский переводчик сильно сократил главы «Журнала» Шарля Анри, но включил в свое издание автобиографические главы и воспоминания Анри Сансона.

²⁴ Фигура отца Анри Сансона не обрисована подробно в его «Записках»: автор ни разу не называет его по имени (очевидно, Анри или Анри Шарль); из второго издания «Записок», по которым был выполнен русский перевод, следует, что с 1794 г. Шарль Анри Сансон болел *delirium tremens*, и при исполнении смертных приговоров сын вынужден был заменять его. Сын Шарля Анри пытался уйти от обязанностей палача, вступив в регулярную армию, но, принужденный отцом к исполнению своего долга, продолжал службу до 1820 г., когда его заменил, как фактотум на этом поприще, Анри Сансон (автор «Записок»). В «Записках» имеется хронологическое зияние (с 1794 до 1819 г.), поскольку в семейных архивах Сансонов не сохранилось документов об этом периоде их службы как палачей.

²⁵ Цитаты из этих глав, отсутствующих и в первом издании 1863 г. и в русском переводе, будут приводиться по английскому переводу: «*Memoirs of the Sansons*», 2: 223–287.

цивилизованного общества вопрос, «о котором говорило столько знаменитых людей, начиная с Монтескье, Беккариа, Филанджери и до Виктора Гюго»; подобно Виктору Гюго, он видел в тексте своей книги «ходатайство об отмене смертной казни» (Sanson, t. 1: 21–22)²⁶. Во Франции к публикации «Записок палача» рецензенты отнеслись с презрением, увидев в них апологию гильотины и зачислив труд Сансона в категорию отживших свой век произведений «кошмарного жанра»²⁷. Фельетонисты противопоставляли книге Сансона «Один день приговоренного к смерти» и, выражая возмущение заглавием: «Записки палача», — задавали вопрос: «К чему подобная книга?» Отвечая оппонентам, Анри Сансон писал: «Если общество и отталкивает все, что касается памяти преступников, то оно должно все-таки принять то, что относится к памяти жертв. Последнее бие-ние сердца мученика принадлежит потомству: оно (потомство. — Н. П.) имеет право, его обязанность изведать — куда он обратил свой угасающий взор»²⁸. Таким образом, усилиями Виктора Гюго, Анри Сансона и их рецензентов, для Достоевского ко второй половине 60-х гг. был создан плотный и впечатляющий контекстуальный фон, на который он мог проецировать замысел своего будущего романа «Идиот».

Работы В. В. Виноградова и А. Л. Бема в полноте исчерпали вопрос, какое исключительное место принадлежит «Последнему дню приговоренного к смерти» в развитии идеологической концепции романа «Идиот» и композиции образа Мышкина²⁹. В статье «Перед лицом смерти: „Последний день приговоренного к казни“ В. Гюго и „Идиот“ Достоевского» А. Бем отмечает все случаи, где впечатления Достоевского от чтения «Последнего дня приговоренного» были дополнены его собственными автобиографическими переживаниями. Но, — настаивает Бем, — как ни важен был мотив переживаний человека «перед лицом смерти» для концепции всего романа, Достоевскому казалось не менее необходимым «создать атмосферу особого доверия» к его главному герою, князю Мышкину³⁰. Именно поэтому писатель, в годы своих заграничных странствий сам не присутствовавший при гильотинировании, отправил Мышкина, в сопровождении доктора

²⁶ Сансон Г. Записки палача. Вступление. Кн. 1. С. 10. Гюго, Виктор. Последний день приговоренного к смерти // Гюго, Виктор. Собрание сочинений в 6 томах. М.: Правда, 1988. Т. 1.

²⁷ Публицист и издатель газеты «Presse» Эмиль Жирарден, воспользовавшись тем обстоятельством, что с точки зрения юриспруденции в «Записках палача» говорилось о смертной казни как «обеспечительном наказании» (то есть наказании, которое «делает преступника членом, не опасным для общества»), провокационно предложил «впредь до осуществления» ожидаемой во Франции реформы правосудия, оставить смертную казнь «почти как единственное наказание и уничтожить все другие, главным образом, разные виды тюремного заключения». См. об этом: Кустяковский А. Элементарный учебник... С. 774.

²⁸ Сансон Г. Кн. 1. Т. 1: 9–10.

²⁹ См.: Виноградов В. В. Из биографии одного «неистового» произведения (Последний день приговоренного к смерти) // Виноградов В. В. Избранные труды Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 63–75; Бем А. Гюго и Достоевский; Перед лицом смерти // O Dostoevském Sborník statí a materiálů. Praha, 1972. С. 131–149, 150–182.

³⁰ Бем А. Перед лицом смерти. С. 151.

Шнейдера, в Лион, где тот и увидел воочию все незабываемые подробности шествия на эшафот и самой казни (см.: 8; 19–20, 54–56)³¹. При истолковании концептуального смысла этого эпизода важно понять, что в тексте Сансона Достоевскому кардинально важны были не столько фотографически верные детали (которые запечатлелись в памяти Мышкина и произвели сильное впечатление на его слушателей), сколько та абсолютно беспрецедентная в художественно–литературных текстах точка зрения, та личная перспектива, с которой увидено происходящее.

В последние часы жизни обреченного на смерть из всего человечества ближе всех к нему оказывается палач: только воспринимая происходящее с позиции палача, можно, в самом буквальном смысле этого слова, сказать «мы», видя те сцены, которые в последний раз проплывают перед глазами осужденного. Только палач видит и может почувствовать, что открывается осужденному перед лицом смерти; только палач, сидя бок о бок или напротив осужденного, может увидеть, зафиксировать в своей памяти и описать физическое выражение ужаса, охватившее осужденного, — бледность лица, посиневшие губы, судорожные рыдания, невладение скованными смертным страхом членами. В этом смысле тот, стоящий за гранью эстетически допустимого, «сюжет для картины», который Мышкин находит для Аделаиды Епанчиной, ни в коей мере не совпадает с канонической в историко–религиозной живописи композицией «Усекновение главы» и, по всей вероятности, технически не может быть выполнен ни одним живописцем именно так, как видел эту картину Мышкин.

В рассказ–картину Мышкина перенесены из «Журнала» Шарля Анри Сансона те моменты видения, та картина жизни, когда «Я» одного («Я» палача) и «Я» другого (его жертвы) сходятся в единственно возможном, но не едином «мы», так что одно «Я» может наблюдать, всматриваться в «Я» другого. Вот записи палача о казни Шарлотты Корде: «Наконец мы с Шарлоттой Корде уселись в телегу. В телеге этой было поставлено два кресла, и одно из них я предложил занять ей, но она отказалась <...> и во время переезда предложила стоять в телеге, опираясь на перила. <...> Шел дождь, и в то время, как мы доехали до набережной, слышались раскаты грома. <...> Много криков раздавалось в толпе в то время, как мы выезжали, <...> чем далее мы продвигались вперед, тем реже и реже слышались

³¹ Можно лишь догадываться, почему доктор Шнейдер посчитал необходимым отправить своего пациента в Лион и там сделать свидетелем смертной казни. — Вплоть до XVIII–XIX в. в европейской медицине существовало представление, что «подобное лечится подобным», исходя из чего предполагалось, что зрелища кровавых казней могут излечить эпилептиков от припадков, сопровождающихся судорогами и помрачением сознания. Город Лион выбран, скорее всего, потому, что известнейший «русский путешественник» Н. М. Карамзин, тоже прибывший в Лион из Швейцарии, смотрит там в марте 1790 г. на театральной сцене трагедию А. Шенье «Карл IX, или Варфоломеевская ночь», в которой «Король <...> соглашается пролить кровь своих подданных, для того, что они — не Католики», а на следующий день становится свидетелем жестокой народной расправы, когда возбужденные горожане с криком: *à la lanterne! à la lanterne!* — хотят повесить какого–то старика. См.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. 205, 209–210, 637–638 (примеч.).

крики. <...> В одном из окон, на улице Сент-Оноре, я заметил депутатов Конвента <...> и все их внимание было устремлено на осужденную. Я сам поминутно оборачивался к Шарлотте Корде и чем больше вглядывался, тем больше хотелось глядеть на нее <...> всякий раз, как я оборачивался и вглядывался в нее, невольная дрожь пробежала у меня по телу при взгляде на непоколебимость осужденной. <...> Когда мы остановились на площади Революции, я встал и старался закрыть собою от нее гильотину. Но она наклонилась вперед, чтобы лучше видеть орудие казни, и сказала мне: „Меня это очень интересует. Ведь я никогда не видела ничего подобного“». И наконец: «Когда мы слезали с телеги ...», — последний шаг к гильотине увиден с одной точки зрения и одновременно — глазами палача и осужденной (Sanson, t. 4: 145–146, 147)³². В другом месте «Записок» Анри Сансон описывает по «Журналу» деда исполнение приговора над фальшивомонетчиком Колло: «...осужденный в это время почти обеспамятел от страха, однако он догадался, что ему не избежать казни. Его мертвенная бледность, конвульсивные движения и трудное дыхание ясно говорили, какое страшное и мучительное томление испытывал он. <...> Осужденный слез с тележки, но отказывался идти по лестнице, которая вела на платформу. Пришлось его нести наверх. <...> Когда осужденный увидал гильотину, то новая перемена случилась в его бедном организме. Ярость его превратилась в отчаяние, и крупные слезы показались на глазах, дико и бессмысленно смотревших на треугольное, блестящее лезвие гильотины, на котором отражался свет факелов. Осужденный стал просить пощады и все кричал: „Я не хочу умирать! я не хочу умирать!“ (Sanson, t. 3: 421, 424–425)³³. На страницах своего «Журнала» Шарль Анри Сансон отмечает, кто из осужденных нуждался в свой последний час в присутствии священника и получал облегчение, целуя подносимый к губам крест (Sanson, 4: 162–163)³⁴.

Все эти картины в записках Сансонов не могли пройти незамеченными для Достоевского во время работы над романом. Очевидно, что разговор Мышкина с камердинером Епанчиных и его рассуждение в гостиной о том, действительно ли казнь на гильотине избавляет осужденного от «муки», построены как близкие к оригиналу парафразы из «Журнала» Шарля Анри Сансона (Sanson, t. 3: 408): «Здесь, быть может, уместно было бы обратить внимание на то, действительно ли смерть на гильотине составляет самый легкий вид смертной казни и, следовательно, удовлетворяет филантропическим идеям своего изобретателя. При этом можно было бы также привести несколько парадоксальных предположений некоторых анатомов, которые утверждают, что преступник во время казни испытывает страшные мучения; эти мучения, по их словам, можно назвать посмертными, потому что они уверяют, что наше чувство, наши личные ощущения, наше „я“ продолжают существовать некоторое время по отсечении головы,

³² Сансон Г. Кн. 2. Т. 5. С. 203–204.

³³ Там же. Кн. 2. Т. 4. С. 111, 112–113. Ср. рассказ Мышкина камердинеру Епанчиных о Легро (8; 20).

³⁴ Сансон. Кн. 2. Т. 5: 210–211 (казнь генерала де Кюстина)

так что казненный в состоянии еще почувствовать все те страдания, которые сопряжены с казнью его на гильотине»³⁵.

С включением книги Сансона в круг чтения Достоевского составителям примечаний к тексту романа «Идиот» становится ясно, откуда в это произведение перенесены все реалии гильотинирования. В «Записках палача» Достоевский нашел и имя для осужденного, смерть которого описал Мышкин, — Летро. Legros звали плотника, помогавшего устанавливать гильотину для Шарлотты Корде (Sanson, 4: 148)³⁶. Из «Журнала» Сансона мы узнаем, что в последние часы жизни Шарлотты Корде молодой художник-дилетант Жан Жак Ауер (Jean Jacques Hauer) нарисовал ее портрет (Sanson, t. 4: 138, 140). В XIX в. его работа находилась в Версальском музее, напротив знаменитой картины Давида «Смерть Марата». В этом же зале был выставлен и выполненный Давидом портрет коротко остриженной и облаченной в одеяние смертника Марии Антуанетты, везомой на эшафот со связанными за спиной руками³⁷. Иными словами, для составителя комментария к тексту романа становится ясным, как сюжет такой ужасной картины, как «смерть на гильотине», мог войти в ум и сердце героя и стать предметом обсуждения в дворянском салоне. Далее, говоря о казни мадам Дюбарри, Лебедев цитирует ее предсмертную мольбу: «Encore un moment, monsieur le bougeau, encore un moment» — по-французски, ссылаясь на «лексикон» Плюшара (8; 164 и 9; 439). У Плюшара эта фраза, приведенная по-французски, восходит, разумеется, к записям Сансона. Предоставив в распоряжение героя статью из энциклопедического словаря, Достоевский как автор при составлении этого эпизода имел перед своими глазами не справочное издание, а «Журнал» Шарля Анри Сансона, где этой фразе предшествует подробное описание последних часов жизни несчастной³⁸.

³⁵ Там же. Кн. 2. Т. 4: 105, глава «Гильотина». Ср.: Мышкин — камердинеру Епанчиных (8; 20–21) и Мышкин — Епанчиным: «И представьте же, что до сих пор еще спорят, что, может быть, голова, когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела, — каково понятие! А что если пять секунд!...» (8; 56). Ср. также ужасающую подробность казни Марии Антуанетты, которую Шарль Анри Сансон занес в «Журнал»: «Один из помощников поднял голову и обошел с нею по краю эшафота. Вследствие конвульсивного содрогания веки на глазах казненной в это время пришли в движение» (Sanson. t. 4: 239; Сансон Г. Кн. 2. Т. 5. С. 245).

³⁶ Сансон Г. Кн. 2., Т. 5. С. 204.

³⁷ Сансон Г. 2: 199, 200; Michel Corday. Charlotte Corday. London: Thornton Butterworth, 1931. P. 146, 148, 216–217.

³⁸ Sanson. t. 4: 363. Парой страниц ранее в той же главе находим: «Quand elle m'aperçut derrière les condamnés déjà liés, elle jeta un grand: ah! en se cachant les yeux sous son mouchoir, et elle se mit à genoux en criant: — Je ne veux pas, je ne veux pas!» (Sanson. t. 4: 359) Видимо, под впечатлением чтения «Записок» Анри Сансона, который в главе «Приговоры, приведенные мною в исполнение» описал Ласенера, Достоевский дал возможность Евгению Павловичу Радомскому сравнить некоторые строки из «Объяснения» Ипполита с записками Ласенера. Ср.: 8; 350; Memoirs of the Sansons. 2: 279–283. Возможно, что Достоевский использовал Анри Сансона как документальный источник в записях для майского–июньского номера «Дневника писателя», 1877 г., где он рядом с книгой предсказаний И. Лихтенбергера назвал и Казотта, «который в 70–х годах прошлого столетия <...> предсказал смерть короля и всего королевского дома», ср.: Sanson. t. 3: 432–436 и 25; 261–65.

У Достоевского было достаточно оснований полагать, что многие читатели, или, по крайней мере, те, пониманием которых он дорожил, догадываются, что рассказ князя Мышкина о человеке, который «был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстреливанием» (8; 51), как и сцена препровождения Легро к месту гильотинирования, построены на его личных переживаниях. Подчеркивать в открытом тексте романа неразделимо близкое соседство воспоминаний палача и осужденного было этически и эстетически недопустимо, и подтекст из «Журнала» Сансона был существенно переработан, так что прямых аллюзий к «Запискам палача» в тексте романа «Идиот» не ощущалось. Но в контексте истории русской литературы и психологии художественного творчества соотнесенность по смежности перспектив палача и его жертвы, мемуарных записок Сансона и автобиографических фрагментов, включенных Достоевским в его роман как рассказ от лица героя, не прошли незамеченными.

14 октября 1923 г. Владимир Набоков (Сирин) опубликовал в газете «Руль» короткое стихотворное произведение: «Дедушка. Драма в одном действии»³⁹. В сюжете драмы с демонстративной парадоксальностью соединялся рассказ Прохожего, который «в девяносто втором году, в Лионе», в возрасте двадцати лет, «к смерти был приговорен», с историей исполнителя приговора — состарившегося и впавшего в деменцию кузена «великого Самсона», то есть кузена знаменитого парижского Шарля Анри, — или Дедушки⁴⁰. Нетерпимый к эмоциональной избыточности французской неистовой школы и к мелодраматическим эффектам, которые он находил у Достоевского, Набоков пародийно акцентировал в звучании своей пьесы лейтмотивы как из «Идиота», так и из того наиболее полного издания «Записок палача», в которое были включены воспоминания Анри Сансона о его печально знаменитом «дедушке».

Поскольку написание комментария к драме В. Набокова не входит в мою задачу, в данной статье я хочу лишь бегло отметить некоторые «странные сближения» между Сансоном и Достоевским, намеренно инкорпорированные Набоковым в текст его драмы. Как писал внук, его дед, бывший исполнитель королевских приговоров (в гербе Бурбонов — белая лилия), к 1794 г. впал в деменцию и ушел от дел, предавшись своему любимому домашнему занятию — садоводству. Соответственно, в пьесе Набокова «вон там в саду» гуляет впавший в младенческое беспмятство «дедушка» и

... пропускает
сквозь пальцы стебель лилии — нагнувшись
над цветником, — лишь гладит, не срывает,
и нежною застенчивой улыбкой
весь озарен...

³⁹ Набоков, Владимир. Собрание сочинений русского периода в пяти томах. СПб.: Синпозиум, 2000. Т. 1. С. 695–709.

⁴⁰ Там же. С. 700.

Да, лилии он любит, —
ласкает их и с ними говорит.
Для них он даже имена придумал, —
каких-то там маркизов, герцогинь...⁴¹

В «Memoirs of the Sansons» маленький Анри вспоминает своего дедушку: «Он очень любил свой цветник. <...> Нагнувшись над цветами, которые сам выращивал, он смотрел на них с какой-то нежностью. Однажды, помню, он воскликнул, глядя на прекрасные красные тюльпаны:

— Какие они свежие, какие красивые! Если бы их кто увидел — подумал бы, что я поливаю их кровью!»⁴²

Эти нечаянно подслушанные слова слабоумного старика испугали ребенка, и он подумал, что его дедушка — вампир.

Безвкусно сентиментальный фрагмент воспоминаний внука подвергается у Набокова жестокой пародийной трансформации, так что по ходу действия его драмы белые королевские лилии заступают на место кроваво-красных тюльпанов, «дедушкина» садовая корзинка, обитая клеенкой и испачканная вишневым соком, подменяет собой обитую клеенкой корзину, в которую Сансон, в годы службы палачом, забрасывал головы гильотинированных, а ящик шкафа и обеденный стол перед шкафом вызывают в ослабевшей памяти старика воспоминания о площадке эшафота, и он, выхватив из-за спины топор, едва не убивает того самого аристократа, который в 1792 г. был чудом спасен от ножа гильотины. Рассказ Прохожего в пьесе Набокова весь построен на прямых парафразах из романа «Идиот», эмоционально переакцентованных так, что в сочетании с парафразами из «Записок палача» они производят впечатление нарочито грубого, лубочного гротеска. Следуя своим законам психологии художественного творчества, Набоков демонстративно шел на нарушение всех законов мимезиса и строил «Дедушку, драму в одном действии», как злую бастардизацию двух драматических картин: исторической драмы из эпохи Французской революции (Сансон) и картины смертной казни, которую в Лионе видел Мышкин⁴³.

Исполненный духом религиозного и кастового сервиллизма, католик Шарль Анри Сансон видел в профессии палача не след Каиновой печати, но понимал свою службу как долг, как обязанность неукоснительного подчинения христианина авторитету высшего закона. Такое искаженное представление о долге верующего, о сословной чести и личной честности подогревало и православно-христианские и антикатолические эмоции Достоевского. И хотя в романе «Идиот» утверждение Мышкина, что «католицизм <...> искаженного Христа проповедует», не несет в себе никаких аллюзий к запискам деда и внука Сансонов, в «Братьях Карамазовых» их

⁴¹ Там же. С. 704.

⁴² Memoirs of the Sansons. II: 223–224.

⁴³ См. монолог Прохожего, «Вот он меня повез <...> Недолго мы ехали. Последний поворот — и распахнулась площадь, посредине зловеще озаренная <...> Доска была — что мост взведенный; к ней — я знал — меня привяжут, опустят мост, <...> тогда-то смерть, с грохотом мгновенным, ухнет сверху!» (Набоков В. Указ соч. С. 700–701; ср.: 8; 19–20, 55–56).

тексты вновь всплывают на поверхность, помогая Достоевскому очертить картину того, что делается «у них», в западных странах, подчеркнуть, какие противоестественные чувства разжигает в толпе публичное зрелище смертной казни и как безбожно компрометирует себя церковь, посылая священников с распятием в руках сопровождать осужденных на эшафот. И когда в пятой книге «Братьев Карамазовых» Иван говорил Алеше, что у него—де есть «одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, <...> раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом» (14; 218), — можно предположить, что в распоряжении Достоевского как автора была не только переводная статья «Обращение и смерть Л. Ф. Ришара, казненного в Женеве 11-го июня 1850 г.», но и воспоминание Анри Сансона о казненном им 24 марта 1825 г. Луи Августе Папавуане (Louis Auguste Paravoine) — детоубийце, сначала упорно отрицавшем свою вину, но затем раскаявшемся, отказавшемся от помощи адвоката и обратившем свои мольбы к справедливости Всевышнего. Вот как парижский палач описывает последние минуты жизни этого преступника: «Когда мы добрались до эшафота, он обратился к аббату с такими словами:

— Мне не о чем жалеть, расставаясь с жизнью. Я всегда болел и не знал радостей жизни. Умирая, я не горюю о моей несчастной матери. Что терзает мою совесть — это смерть невинных малюток, которых я имел несчастье убить.

Аббат Монте поздравил его с обращением к этим добрым чувствам. Папавуан преклонил колени перед эшафотом, поцеловал распятие и взошел по ступеням, поддерживаемый двумя моими помощниками. Когда доска, к которой он был привязан, стала опускаться, я отчетливо услышал, как он произнес: „Боже, смилуйся надо мною“»⁴⁴.

II

Трагический опыт Достоевского обеспечивал ему столь неоспоримо авторитетную позицию среди противников смертной казни, что представляется важным посмотреть, отзывался ли он когда-либо на попытки своих соотечественников — русских писателей и общественных деятелей — трактовать ее как приемлемую законом форму правосудия. И тут следует обратить внимание на статью В. А. Жуковского «О смертной казни», которая была написана Жуковским как реакция на Европейские события, касающиеся как политической жизни (летом 1849 г. он и его семья стали свидетелями революционных бунтов в Бадене и Карлсруэ), так и уголовной хроники (дело супругов Манингов в Англии, закончившееся приговорением обоих к смертной казни через повешение)⁴⁵. Написанная в конце

⁴⁴ *Memoires of the Sansons*. 2: 266–267; ср. работы Н. Будановой, указ. в примеч. 1 данной статьи.

⁴⁵ Жуковский В. А. О смертной казни. Сочинения. Издание пятое. СПб., 1857. Т. 11. С. 177–189. Описание Жуковским революционных событий 1848–49 г. см в его письмах А. Я. Булгакову от 7 марта 1848 г., 9 октября 1848 г., 17–20 мая 1849 и 6 июля 1849 г.

1849 г., в то самое время, когда над петрашевцами, находившимися в заключении, была учреждена Высочайшая военно-судная комиссия (санкционировавшая применение смертного приговора к ним как к заговорщикам), статья эта была в 1850 г. запрещена русской цензурой и опубликована впервые в 1857 г., в XI томе пятого собрания сочинений Жуковского (тома X–XIII вышли посмертно); в этом же издании была помещена и замеченная Достоевским статья «Нечто о привидениях» (несомненные отблески ее находим в «Идиоте», в рассказе Ипполита о сновидениях, а в «Подростке» Версилье прямо упоминает ее в разговоре с Аркадием)⁴⁶. Трудно предположить, чтобы заглавие «О смертной казни» не бросилось в глаза Достоевскому.

Текст Жуковского — уникальный для русской культуры образец мистического квиетизма. Жуковский предлагает, чтобы из позорного публичного зрелища, разжигающего своей кровавой жестокостью низменные инстинкты толпы, смертная казнь была превращена в таинственное церковное действие, поражающее сердца верующих силой страха Божия и Божия милосердия. Вершимая за высокой церковной оградой, которая сделает приговоренного к смерти невидимым для собравшихся, смертная казнь станет не публичным зрелищем убийства, но «величественным актом человеческого правосудия и убедительной заповедью для нравственности народной»⁴⁷. «Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогающий и ужасающий душу, <...> дайте этому совершению характер таинства, чтобы при этом совершении всякий глубоко понимал, что здесь происходит нечто принадлежащее к высшему разряду, а не варварский убой человека, как быка на бойне; <...> сделайте, чтобы казнь была не одним актом правосудия гражданского, но и актом любви *христианской*, чтобы она, уничтожая преступника, врага *граждан*, возбуждала сострадание к судьбе его в сердцах его *братьев*, <...> наконец, главное, сохраните для вечности душу несчастного, которого закон ваш убивает во времени, дав ему возможность взглянуть с умилением в глаза неизбежной смерти, и помогите смягчиться душе его для покорности и покаяния»⁴⁸. В своем мистико-романтическом пафосе Жуковский видел эшафот, на котором совершается смертная казнь, как «место, где неумолимое земное правосудие казнит преступление, а Божие милосердие принимает в свое лоно кающуюся душу»⁴⁹.

(Сочинения. Издание седьмое. СПб., 1878. 6; 577–578, 582–584). Публичная казнь Маннингов состоялась в Лондоне 1/13 ноября 1849 г. Илья Виноцкий предлагает подробный анализ статьи Жуковского «О смертной казни» в работе «The Invisible Scaffold: Execution and Imagination in Vasily Zhukovsky's Work» (сдано в печать). Я благодарю профессора Виноцкого за разрешение пользоваться данными его новой, еще неопубликованной работы.

⁴⁶ Жуковский В. А. Нечто о привидениях // Жуковский В. А. Сочинения. СПб., 1857. Т. 11. С. 251–287; также см.: 8; 340–341 (привидение Рогожина, явившееся Ипполиту), 13; 167, 17; 277 (примеч., рассказ о привидениях в «Подростке»).

⁴⁷ Жуковский В. А. Сочинения. Т. 11. С. 186.

⁴⁸ Там же. С. 181–182.

⁴⁹ Там же. С. 179.

Стоявший на эшафоте в декабре 1849 г. Достоевский, разумеется, не знал о существовании этой статьи. Но впоследствии он с нею, очевидно, ознакомился. Наиболее вероятные даты этого ознакомления — либо 1857, либо 1878 г., когда Достоевский, работая над «Братьями Карамазовыми», пользовался седьмым изданием собрания сочинений Жуковского, где статья «О смертной казни» находилась в 6-м томе⁵⁰. Однако к концу 70-х гг., утвердившись в своих этических и религиозно-политических представлениях о двух мирах («у нас» и «у них», где «Христа потеряли»), не считал нужным напрямую оспорить точку зрения своего соотечественника — единоверца и глубоко почитаемого поэта. С моей точки зрения, невключение статьи Жуковского в контекст этико-философских рассуждений Ивана Карамазова по вопросам гражданского и религиозного права является преднамеренным случаем умолчания.

Группу фактов и документов, известных писателю, о которых мы можем судить не на основании аллюзий к ним, а, напротив, на основе преднамеренного умолчания, можно расширить и, анализируя их, попытаться ответить на вопрос: как в полифоническом мышлении Достоевского высказанные истины соотносятся с умолчанными.

Достоевский впервые открыто заговорил о своих переживаниях энтузиаста, веровавшего «во всю правду грядущего обновленного мира» и приговоренного к смертной казни за верность своим убеждениям, в связи с делом Нечаева в «Дневнике писателя» 1873 г. (гл. «Одна из современных фальшей»): «...я сам старый нечаевец, я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни» (21; 131, 129). Достоевский возвращался к страшному моменту пребывания на эшафоте и говоря о долгушинцах, и в связи с казнью Квятковского, Преснякова и помилованием остальных, проходивших по процессу 16-ти в 1880 г.⁵¹

Смертную казнь как меру наказания Достоевский рассматривает с нескольких точек зрения. Подобно Кистяковскому, но независимо от него, он утверждает, что сохранение смертной казни в уголовном кодексе как угрозы или как меры превентивного воздействия на преступников и потенциальных нарушителей закона цели своей не достигает. Напротив, большинство осужденных (он по личному опыту это знает) почитают за

⁵⁰ В 1857 г., откликаясь на появление тт. 11–13 посмертной части пятого издания собраний сочинений Жуковского, Чернышевский в № 7 «Современника», полностью воспроизвел статью «О смертной казни» в своей рецензии. По мнению рецензента, статья «показывает, как хорошо умел примирять Жуковский требования строгого человеческого правосудия с высшими требованиями христианской любви. Она полна воззрения величественного и обнаруживает замечательную силу логики вместе с знаниями человеческого быта» (*Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 589). Всем известно, что по выходе из Омского острога Достоевский с жаром принялся за чтение пропущенных им журналов и прежде всего — «Современника». Статью «О Смертной казни» см. также в седьмом издании сочинений Жуковского (СПб., 1878. Т. 6 С. 171–176).

⁵¹ Все эти факты прослежены по подготовительным материалам к роману «Подросток» и по записям к «Дневнику писателя» 1881 г., откомментированы составителями ПСС (тт. 16, 17, 27), а также включены в широкий культурно-исторический контекст в работе И. Волгина «Последний год Достоевского» М., 1991. С. 134–163 (гл. «Свидетель казни»).

бесчестье из страха смерти отречься от своих убеждений, и у всех осведомленных о страшной участи, ожидающей заговорщиков, политических мыслителей или фантазеров, осмелившихся мечтать о разрушении старого общества, такая стойкость и преданность идеалам вызывает уважение. Приговоренному к смерти и стоящему на эшафоте осужденному вера в истинность его убеждений представляется очищающим мученичеством (Достоевский вспоминает, что все петрашевцы по прочтении им приговора приложились к кресту). И дарованное по высочайшей конфирмации помилование, заменяющее смертную казнь каторгой, скорее укрепляет веру осужденного в святость его идей, нежели толкает к отречению. Перерождение убеждений, если оно наступает у помилованного, наступает не от страха и не от раскаяния, а происходит «постепенно и после очень-очень долгого времени». «Что такое казнь? В государстве — жертва за идею. Но если Церковь — нет казни», — так писал Достоевский в день вынесения приговора по делу 16-ти (27; 51, ср. 21; 133–134). Иными словами, с точки зрения правосудия, «жертва за идею» приносится с той и с другой стороны. Но в момент казни на эшафоте одна сторона (притом — преступная) жертву приносит, а другая (государственная, монархическая власть), хоть и законно, но требует принесения в жертву человеческой жизни (в наказание или во искупление вины — это другой вопрос). Юридический кодекс, допускающий смертную казнь, никогда не сможет обеспечить единомыслия граждан или подданных по вопросу о том, в каких случаях и за какого рода преступления можно облагать алтарь правосудия человеческой кровью. Единомыслие и деятельное единство всех в полном отказе от убийства и узаконенного кровопролития могут быть достигнуты только братским соединением всех в Церковь как в единое тело всего народа, — так следует понимать фразу: «Но если Церковь — нет казни». Трехединая формула Достоевского таким образом читается не как «православие, самодержавие, народность», а как единая Церковь, единый народ, единая вера.

Церкви Достоевский отводит первенствующую роль, поскольку ее «соборное бытие» (говоря словами Георгия Флоровского) «воспринимается и опознается теперь как единственная „органическая“ сила среди „критического“ разложения и распада всех скреп в эпоху самого острого культурно-исторического кризиса»⁵². Приняв объяснение соборности, предложенное Флоровским, мы можем понять, что постепенный процесс перерождения убеждений, который в течение долгого времени происходил в сознании Достоевского, вел его от утопических идей социального, общественного, этического альтруизма к «идее духовного нравственного общения всех частей и членов Церкви между собою и с общим Божественным Главою»⁵³. С этой точки зрения, моменты духовного прозрения, которое Достоевский пережил в острожной церкви, стоя на Пасхальной службе,

⁵² Флоровский, Георгий. Пути русского богословия. Париж: YMCA Press, 1983. С. 250.

⁵³ Там же. С. 277. Флоровский выводит это определение соборности на основе трудов Хомякова (хорошо известных Достоевскому) и ссылается на «Духовные основы жизни» Владимира Соловьева.

а затем лежа на тюремных нарах и вспоминая мужика Марея, помогли ему не тем, что он как «несчастный» среди несчастных «включился во множественность верующих» или понял нравственное превосходство простого крепостного над благородным интеллектуалом, — такого рода чувствования, по Флоровскому, следовало бы определить как переживание индивидуумом своего социального места в жизни общины⁵⁴. Шаг к духовному перерождению был сделан в том смысле, что Достоевский в эти моменты приобщился «единству благодати католической или соборной»⁵⁵, притом для Достоевского — благодати соборности Церкви Православной; это он делает доминантой всех своих воспоминаний, включенных в «Дневник писателя», и неопубликованных заметок, и это же разделение: с одной стороны, соединение всех в Церковь и подчинение авторитету Церкви всемирной, с другой — приобщение верующих соборности Церкви Православной — определяет одну из главных «контroversз» «Братьев Карамазовых». С кристальной ясностью идея прозрения и приобщения к соборности выражена в «Мужике Марее», где, в отличие от «Записок из Мертвого дома», Достоевский пишет о себе, бывшем мечтателе-социалисте из благородных, и о своем товарище, «поляке М-цком, из политических»: «И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла всякая злоба и ненависть в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей. <...> Встретил я в тот же вечер еще раз М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «*Je haïs ces brigands!*»» Вывод Достоевского: «Нет, эти поляки вынесли тогда больше нашего» — однозначен (22; 46, 49, 50). Если осужденный идеалист принадлежит не русской православной церкви и подвиг свой совершает не во имя русского, а во имя другого, своего народа, духовного единения с которым никогда не порывал и вере которого всегда был предан, — он как не православный, чуждый русской почве и духу народа русского, навеки будет лишен благодати истинной соборности. В терминах Хомякова и Достоевского, кругозор такого «всечеловека» будет ограничен «общественностью и корпоративностью»⁵⁶, и как «чужому» ему не может открыться тайна преображения грубо физического в духовно прекрасное, когда над физиологией картин мрачной острожной жизни возносится иконописно светлый образ мужика Марея. Произнесенное на чужом языке озлобленное признание М-го: *Je haïs ces brigands!*» — обрамляет сцену духовного просветления самого Достоевского и создает идеально законченный, лаконичный иконический знак очуждения или полной отчужден-

⁵⁴ Там же. С. 277.

⁵⁵ Там же.

* Ненавижу этих разбойников! (франц.)

⁵⁶ Флоровский Г. Указ. соч. С. 277.

ности «другого» от мира живых. Редуцированный до уровня иконического знака образ М-го очищен от каких бы то ни было индивидуальных признаков: психологических, портретных, биографических. Подробности, подчерпнутые из личного жизненного опыта М-го как «другого» и осведомленность / неосведомленность писателя о том, через какие испытания прошел этот страдалец, становятся либо вовсе ненужными для писателя, либо перестают быть необходимым условием создания истинно художественного произведения. Как концепция, такой отпавший от духовного единения с людьми «другой» предвосхищает образ подпольного человека; подобно подпольному человеку, он на глазах у очевидца, то есть Достоевского-мемуариста, погружается в глубокую мизантропию и тем обрекает себя на еще горшие мучения и страдания. Такого «чужого» можно жалеть, но сопереживать с ним невозможно: ему невозможно сочувствовать, ему невозможно помочь.

Достоевскому же перерождение убеждений, состоящее в приобщении к соборности, дало силы преодолеть в своем экзистенциальном и биографическом опыте переживание того кризисного момента, когда он и его друзья-петрашевцы стояли на эшафоте, приговоренные к смерти; помогло возвыситься над самыми угнетающими воспоминаниями, не ожесточиться и не погибнуть в Мертвом доме, найти в себе силы для новой жизни (см.: 21; 133–134). Художественно-эстетический анализ этого процесса обретения многостороннего или «утроенного» видения дает Роберт Джексон в книге «Искусство Достоевского»⁵⁷. Джексон включает в свое исследование не только «Мужика Марея» и «Мертвый дом», но и два других inferнальных мира: подполье и игорный дом, а затем переходит, через «Дневник писателя», к рассмотрению «Братьев Карамазовых»⁵⁸. Для всех этих текстов момент нравственного перерождения и духовного возрождения исключительно важен.

Ни в чем не опровергая убедительности анализа преображения inferнальных образов в картины просветленного братолюбия в искусстве Достоевского, я хочу отметить, что из этого широчайшего контекста, ставшего после опубликования «Записок из Мертвого дома» доминантой его творчества, сам писатель сознательно, на всех уровнях высказывания (за исключением «Мужика Марея») изъясил какие бы то ни было упоминания о своих союзниках, бывших польских повстанцах⁵⁹. Чтение воспоминаний ссыль-

⁵⁷ Джексон Р. Л. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М., 1998. С. 25–33 (гл. «Тройное видение: „Мужик Марей“»).

⁵⁸ См.: Там же. С. 257–267 (гл. «Дмитрий Карамазов и легенда о великом инквизиторе»). Джексон не касается вопроса о понимании соборности Достоевским и его героями, но его анализ доказывает, что преодоление «безудержа» для Дмитрия Карамазова возможно лишь на пути обретения высшего порядка, завещанного Зосимой в его поучениях о христианском братстве.

⁵⁹ Литература вопроса «Достоевский и ссыльные поляки», как и история запрещения-разрешения, включения и опущения главы «Товарищи» в текст «Записок из Мертвого дома» обширна и учтена комментаторами ПСС. Глубокий сравнительный анализ изображения Достоевским преступников из дворян и поляков в «Записках из Мертвого дома» и в полемически заостренных воспоминаниях Шимона Токаржевского (Szymon

ного поляка Шимона Токаржевского и разбор дел поляков, сосланных в Омский военный острог, показывает, что Достоевский провел четыре года в казарме, где содержались и сосланные за участие в Варшавском и Краковском восстаниях поляки, двое из которых, Мирецкий и Жоховский, подверглись той же мере наказания, что и Петрашевский и его друзья: им был зачитан на эшафоте смертный приговор, замененный по Высочайшей конфирмации каторжными работами (а для Мирецкого—телесным наказанием и десятилетней каторгой)⁶⁰. Из глухих замечаний героя «Записок из Мертвого дома» читатель узнает, что при экзекуции М-го (Мирецкого) присутствовала его мать. Вспоминая о ней, Мирецкий говорит Горянчикову: «...она знала, как меня гоняли сквозь строй». При этом Горянчиков как герой-повествователь «Записок» остается в неведении, а Достоевский как автор книги о Мертвом доме умалчивает, что телесное наказание проводилось вслед за зачитыванием Мирецкому смертного приговора и что, таким образом, мать была свидетельницей глумливого взведения ее единственного сына на эшафот. Не менее трагична и история другого поляка — измученного бедностью профессора Жоховского, главы многодетной семьи, верующего католика и автора книг «Философия сердца, т.е. мудрость практическая» (1845) и «Жизнь Иисуса Христа» (1847). Метафорически судьба Жоховского могла бы рассматриваться как семантический пучок едва ли не всех центральных этико-религиозных идей и мотивов творчества Достоевского, но примечательно, что в «Записках из Мертвого дома» писатель, через восприятие Горянчикова, создал сознательно упрощенный и оглушенный образ этого верующего страдальца⁶¹. Не менее характерно, что в «Записках из Мертвого дома» не герой-повествователь, а простые каторжники, из сочувствия к христианской покорности и долготерпению Жоховского, прозвали его «святым», в то время как сам Горянчиков видел в его религиозности проявление упрямства и ограниченности. Так же и с точки зрения Достоевского, религиозный ригоризм и истовая вера

Токарzewski) о Достоевском, Дурове и обо всем их бараке, в котором находились «благородные», староверы, поляки, чеченцы и еврей Исай Фомич, см. в кн.: *Frank, Joseph. Dostoevsky: The Years of Ordeal. 1850–1859.* Princeton: Princeton University Press, 1983. P. 81, 111–113, 144–145.

⁶⁰ Российский государственный военно-исторический архив, ф. 801, оп. 109/86–7 (Мирецкий); 109/86–12 (Жоховский). Szymon Tokarzewski, *Pośród cywilne umarłych: Obrazki z życia Polaków na Syberii.* (Warszawa: Biblioteka dzieł wyborow); *Zbieg: Wspomnienia z Sybiru* (Warszawa. 1913); *Siedem lat katorgi. 1846–1857* (Warszawa: Skład Wolfa, 1912). Я благодарна Борису Варфоломеевичу Федоренко, первому директору Ленинградского Музея Достоевского, за обнаружение и фотокопирование архивных материалов, касающихся дел сосланных в Сибирь участников Польских восстаний 1830–1863 гг. Сведения о Мирецком, Жоховском, Токаржевском, Богуславском и других обитателях Омского острога почерпнуты мною из этих документов. В январе и в ноябре 2000 г. на основании этих материалов мною были сделаны два сообщения — одно в Пушкинском Доме (Российская Академия Наук), другое в университете штата Индиана (США); вскоре после этого я ознакомилась с книгой Виктора Вайнермана «Поручаю себя вашей доброй памяти (Ф. М. Достоевский и Сибирь)». Омск: Наследие, 2001, где использованы эти же материалы (С. 58–59, 101–107).

⁶¹ См.: *Perlina N. Dostoevsky and his Polish Fellow-Prisoners from the House of the Dead* (сдано в печать).

Жоховского стесняли его духовный кругозор и не давали ему возможности приобщиться к соборности.

Таким образом, к концу 60-х — началу 70-х гг. этнический и конфессиональный элемент стал для Достоевского общим знаменателем всех глобальных религиозно-христианских, нравственно-эстетических, социально-общественных и геополитических построений. Это не прошло незамеченным для тех современников, кто игрой судьбы и случая был принужден разделить его жизненный опыт. Так, ознакомившись с «Дневником писателя» за 1873 и 1876 гг., Шимон Токаржевский, прежний сокамерник Достоевского и единственный из оставшихся в живых его польских «товарищей», выступил с серией воспоминаний об Омском военном остроге и сибирской каторге. Многие главы в воспоминаниях Токаржевского полемически направлены против тех сторон мировоззрения Достоевского, в которых проявились его национализм, приверженность идеям русской имперской геополитической экспансии и нетерпимость к католическому христианству. Токаржевский описывает отсутствие взаимопонимания между Достоевским и поляками по вопросу о сословном достоинстве ссыльно-каторжных из дворян и воспроизводит ожесточенные споры бывших польских повстанцев и бывшего сторонника социальных идей Достоевского по вопросу о независимости славянских народов от Российской империи. Эти аспекты его мемуаров, составляющие контрастный фон для идеологических страниц «Дневника писателя», хорошо изучены в достоевковедении. Но мне представляется, что в центре разногласий между Токаржевским и Достоевским стоял не столько спор по поводу православия, самодержавия и народности и даже не спор о геополитических аспектах в понимании братского единения православных народов, сколько различные истолкования соборности: православная церковь, русский народ и его христианская вера (Достоевский) или согласие всех в вере, любви и молитве — на тех языках, на которых дано было благовествование и на тех землях, на которых верующие народы обитают (Токаржевский). Очевидно, что при таком понимании соборности «народности» (как тогда говорилось вместо «нации» или «национальности») мыслились как коллективные личности человечества.

Токаржевский воспринял свое понимание всемирного братства и соборного единения от ксендза Петра Сцегенного, личности легендарной в истории польского религиозно-демократического движения. Арестованный по доносу и спровоцированный фальшивым единомышленником на изложение своего учения о будущем устройстве Польши на основах христианской религиозной общинности, Сцегенный был приговорен к смертной казни повешением, помилован на эшафоте под виселицей и отправлен в пожизненную каторгу. В Александровске, куда он был отправлен по приговору судной комиссии, Сцегенный создал общину — подобие христианской коммуны, устройству которой он мечтал обучить у себя на родине польских крестьян⁶². Под очарованием учений Сцегенного Токар-

⁶² Храевич В. Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка // Русская старина. 1910. Февраль. С. 370–371.

жевский отказался от своих сословных привилегий (он был урожденным дворянином) и изучил сапожное дело, чтобы, соединив свою жизнь с жизнью простого народа, по-братски разделить с простыми людьми все демократические и религиозно-общинные истины, которые он почерпнул из общения с Сцегенным. Судя по статейным спискам арестантов Омского острога, где в графе: «Из какой губернии родом и кому принадлежит» — указано: «Из политических преступников», — Токаржевский не раскрыл своего дворянского происхождения и на суде, в связи с чем как не принадлежащий к благородному сословию был «наказан шпицрутенами через 500 человек один раз»⁶³. А по первоначальному приговору он должен был пройти через 2000 человек (что означало бы верную смерть). О том, что дало ему силы перенести истязание, Токаржевский пишет: «Я прижал к груди иконку Ченстоховской Божией Матери <...> Я желал молиться, но ни одного слова молитвы не мог припомнить, лишь с каждым ударом попеременно говорил: „Это во славу твою, Королева Короны Польский; это за искупление Твое, дорогая Отчизна“. Больно ли мне было во время битья? Нет. Видел ли я своих мучителей? Нет. Все окружающее исчезло у меня из глаз; я видел перед собою только какие-то светлые круги. Может быть в эту кровавую минуту душа моя разлучилась с телом и пребывала в каких-то надмирных пространствах? Но разве это возможно?.. Пусть на этот вопрос ответят врачи и психологи. Я же со всею смелостью могу утверждать и доказывать лишь то, что в моменты религиозного и патриотического экстаза человек не чувствует физической боли»⁶⁴.

Слова Токаржевского цитируются по статье В. Храневича «Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка», но в книге «7 лет каторги» это его *profession de foi* находится в главах, описывающих трагический финал первого этапа его деятельности как участника польского национально-освободительного движения⁶⁵. Главы, описывающие этапирование арестантов (в том числе и польских политических) в Омск, прибытие в Омский тюремный замок; прием, оказанный им «Васькой» (плац-майором Кривцовым) и долголетнее их пребывание в остроге во многом дополняют те главы «Записок из Мертвого дома», в которых изображены арестанты из простонародья, и в большой мере совпадают по тону со знаменитым письмом Достоевского брату Михаилу, начатым через неделю после выхода из каторги и законченным 22 февраля 1854 г. Как и Достоевский, Токаржевский вспоминает, что поначалу отношения с каторжным народом у поляков складывались напряженно (особенно у него) и добавляет, что относительной безопасности они достигли лишь после того, как им, черкесам, еврею Бумштейну и еще некоторым «самым спокойным из арестантов», то есть бывшим дворянам и раскольникам, было разрешено

⁶³ Статейные списки за 1849 г. об арестантах гражданского ведомства, сосланных в крепостную работу на срок (Российский государственный военно-исторический архив, ф. 312, оп. 2, № 30). В деле следующего по списку политического преступника, Иосифа Богуславского, в этой же графе указано «Из дворян Царства Польского».

⁶⁴ Храневич В. Ф. М. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка. С. 374.

⁶⁵ См.: Tokarzewski Sz. Siedem lat Katorgi. С. 87.

отселиться и создать своего рода «товарищество из 20 человек, помещавшееся в бараке с тремя забранными решеткой окошками»⁶⁶. Не вступая в прямой спор с Достоевским по поводу того, насколько соответствует истине изображение вежливого высокомерия поляков по отношению к каторжникам из простонародья, Токаржевский, верный последователь ксендза Сцегенного, страница за страницей и шаг за шагом показывает, как постепенно налаживались отношения между поляками и «*ces brigands*». Словечко это, по-видимому изобретенное Мирецким, на их домашнем языке означало не мерзавцы или злодеи, а скорее что-то вроде «эти разбойнички, наши преступнички». Токаржевский вспоминает, какие справедливые и уважительные прозвища дали полякам «*ces brigands*»; пишет о том, какие ужасающие обстоятельства прежней жизни «на воле» привели многих из них в Мертвый дом (глава «Федько»), рассказывает, какую поддержку, сочувствие и понимание встречали польские ссыльно-каторжные у жителей Омска и в Сибири вообще («я утвердился в мысли, что „поляк“ было в Сибири словом, пробуждающим доверие и уважение»)⁶⁷. В одной из глав Токаржевский, разумеется независимо от Достоевского и совершенно в другом контексте, вспоминает о своем разговоре с Федько, «мужичком неполных 20-ти лет, засуженным на 20 лет за убийство, которое он совершил по приказу родного отца». По ходу беседы Токаржевский, совсем как Мышкин камердинеру Епанчиных, сообщает, что за границей, «в дальних краях», за убийство приговаривают к смертной казни, и передает реакцию собеседников — *brigands*: «Ну, черт их побери, значит, у нас в России получше!»⁶⁸. Наконец, совершенно как Достоевский, и, возможно, повторяя по памяти рассуждения о «Несчастных» из «Дневника писателя», Токаржевский пишет, что отношение русского народа к каторжникам и слова, с которыми обращались простые люди к арестантам, подавая милостыню: «Прими мой дар, и пусть Христос спасет тебя, несчастный!» — всегда казались ему «полными христианской любви. Может быть, это был бы самый лучший общественный строй, если бы установился такой взгляд на преступников, что они люди, постигнутые несчастьем». Вполне понимая чистое христианское милосердие такого чувства общинности и соборности у простых русских людей, Токаржевский, как человек, принадлежащий к другой народности, другому христианскому вероисповеданию и другим социальным идеям, отклонял милостыню, повторяя: «Благодарю <...> я вовсе не несчастный, а политический преступник»⁶⁹.

Достоевский, проведенный четыре года бок о бок с поляками в одном бараке с «тремя забранными решеткой окошками», посылаемый с ними на

⁶⁶ *Tokarzewski Sz. Siedem lat Katorgi*. С. 158, 180. Ср.: 28; 169–170.

⁶⁷ *Ibid.* С. 159–164; 182–193; 223.

⁶⁸ *Ibid.* С. 163. Характерно, что разговор Федько с Токаржевским начинается с того, что тот обращается к поляку: «Барин», на что Токаржевский отвечает: «Чего тебе, братец? Да не называй меня барином, а просто Семеном Севастьянычем». — «Ну ладно», — согласился Федько. — «А вот скажите вы мне, Семен Севастьяныч, что, и всюду на свете за убийство наказывают так же строго, как здесь, в Омске?» (Указ. соч. С. 160).

⁶⁹ *Хранович В. Достоевский по воспоминаниям ссыльного поляка*. С. 376.

те же работы и опекаемый теми же милосердными жительницами Омска, не мог не знать, по крайней мере, о главных, кризисных моментах в их жизни. Он не мог оставаться слепым к тому, как постепенно исчезала враждебная отчужденность поляков от арестантов из простого народа; не мог не заметить, что поляки постепенно стали заслуживать такое же почтительное уважение к себе со стороны некоторых из каторжников, что и он. И тем более не мог не видеть подлинного религиозно-патриотического источника их душевной твердости и верности своим идеалам. Но поскольку все эти идеи-чувства Жоховского, Мирецкого и Токаржевского субъектом своим имели не православных христиан, чающих слияния с миром русского народа, а поляков и католиков, Достоевский умолчал об этих их чувствованиях и о мученичестве поляков за их идеи. И умолчал не перед цензурой или мнениями своих влиятельных единомышленников, а перед собственным религиозно-этическим мировоззрением. Я полагаю, что с раскрытием таких фактов, известных писателю, но намеренно не введенных ни в открытое повествование, ни в поэтические фигуры умолчания, мы сможем лучше понять сложную композицию его произведений как единого телеологического целого. Мы также получим возможность увидеть, через какое «горнило сомнений» прошла его осанна христианству и что из нее было выжжено огнем националистически оформленного православия.